

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

# В камнях



# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## В камнях

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=328852](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=328852)*

### **Аннотация**

Рассказ основан на личных впечатлениях автора. Мамину приходилось не раз плавать на барках по реке Чусовой до Перми в годы его обучения в Пермской духовной семинарии. Он подвергался всем случайностям этого опасного плавания, так как его родители не имели средств отправить сына в Пермь на лошадях.

# Содержание

I	4
II	18
III	30
IV	41
V	54

# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## В камнях. Из путешествия по реке Чусовой

### I

Наш полубарок отвалил от пристани Межевая Утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше сшитое на живую нитку суденышко постоянно задевало за «таши», то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздригнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие почеркивания, и разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука, и наше суденышко все вздрогнет, – кто-нибудь проговорит стереотипную фразу:

– Тише, хозяин дома!..

Наш полубарок представлял собой судно длиной сажен

в десять и шириной около четырех. На носу и корме были устроены легкие палубы, середина была открыта; медные «штыки», уложенные правильными рядами посередине и около бортов, издали представлялись поленницами каких-то коротеньких красных дров. Настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной; они имеют в длину 18 сажень, покрыты сплошной палубой и вмещают до 15 000 пудов груза, тогда как наш полубарок был нагружен всего 4 000 пудов штыковой меди. На середине нашего полубарка была устроена из рогож избушка водолива; около нее дымился очаг; у самого борта – льяло для откачивания из барки воды деревянным ковшом совершенно особенного устройства. На носу и на корме были прикреплены длинные бревна с широкими досками на концах – это «поносные» или «потеси», при помощи которых барку поворачивают в ту или другую сторону. Такая потесь представляет из себя громаднейшее весло, которое едва поворачивают пять человек. На задней палубе на большой скамеечке сидит обыкновенно сплавщик.

Две кучки бурлаков, стоявших у поносных, казались издали грязным пятном, кучей лохмотьев, которые начинали шевелиться вместе с поносными, повторяя каждое их движение. На носовой палубе, у конца поносного, под «губой», по бурлацкой терминологии, стоял высокий здоровенный мужик в рваном рыжем зипунишке и какой-то невероятно сплюсненной и заношенной кожаной фуражке. Его лицо,

красное и рябое, освещенное всего одним глазом, принадлежало к разряду тех особенных физиономий, которые не забываются. Новенькие лапти на ногах и синие порты дополняли его костюм. Как-то странно было видеть это могучее тело облеченным в такие жалкие лохмотья. Неужели эти могучие, жилистые руки не могли заработать даже на приличный костюм? Нет, Федька Рыбаков не мог пожаловаться на свои заработки и частенько щеголял в плисовых шароварах, красной кумачной рубашке и пуховой шляпе, но все эти предметы как-то не могли удержаться на нем и очень скоро уходили в ближайший кабак. Рядом с Рыбаковым стоял молодой парень лет семнадцати. Поверх старенькой ситцевой рубашки у него была надета только одна суконная жилетка, на ногах – лапти; его налитое розовой кровью лицо дышало здоровьем, а глаза так и блестели. На голове Васьки – так звали парня – была нахлобучена старая баранья шапчонка, из-под которой кольцами выбивались светло-русые кудри. Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков – утчаны, то есть с Межовой Утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, – с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия. Нужно сказать, что Васька во всем копировал Рыбакова, который по всей Чусовой славился, как один из лучших бурлаков и как самая отчаянная голова. За ними у поносного стояли две девки, старик в войлочной шляпе и отставной солдат с щетинистыми усами и узенькими слезившимися глазками.

Девки были в коротеньких ваточных кофточках, из-под которых выставлялись подола высоко подобранных ситцевых сарафанов и белые шерстяные чулки. Одна, Лушка, курносая и рябая, посматривала по сторонам своими небольшими черными глазами и постоянно скалила белые редкие зубы, другая, Степанька, рыхлый белый субъект, смотрела апатичным взглядом на все кругом и время от времени усиленно икала.

– Направо нос-от!.. Поддержи направо нос-от!!.. – скомандует на корме сплавщик Окиня, и эта серая кучка бурлаков метнется на палубе, как спугнутые птицы. Рыбаков стоит под губой – это довольно видный пост в бурлацкой иерархии, потому что сюда ставят только надежных рабочих, которые не спугают команды. Он без всякого напряжения придавит бревно книзу, поведет его в сторону и, высоко подняв губу кверху, держит ее в этом положении все время, пока бурлаки, краснея от напряжения, отводят бревно. Васька покраснеет, как рак, навалится плечом, и только доски говорят под его лаптями; девки налегают грудью, старик подхватывает с крихтеньем. Солдат, по выражению Рыбакова, «финтюрит», то есть ленится, и, кроме того, постоянно сбивается в команде.

– Хуже бабы, правой руки не знает! – хриплым голосом замечает Рыбаков.

– Инвалид, одним порохом палит, – вторит Васька, окидывая солдата подозрительным взглядом. – Крупа несчаст-

ная!

– А ты не собачься... – отзывается солдат. – Над землей-то ты не больно страшен, разве под землей тебе много осталось...

Лушка толкает локтем Степаньку и кокетливо закрывается рукавом кофточки; старик, кажется, безучастно относится к этой перебранке, но потом, сдвинув шляпу на ухо, замечает:

– Ну чего вы аркаетесь? Чего вам мало стало? Ах ты, господи милостивый...

На кормовой палубе, на первом плане, виднеется коренастая фигура сплавщика Окини. Он сидит бочком на низенькой деревянной скамеечке, заложив ногу на ногу. Ему на вид лет шестьдесят, но он выглядит еще молодцом. Кафтан из толстого серого крестьянского сукна ловко сидит на его широких плечах; из-под кафтана выбивается ворот пестрядевой толстой рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин, точно она растрескалась под действием солнечного жара и непогод. На ногах у Окини надеты кунгурские сапоги, насквозь пропитанные дегтем. Маленькая, низенькая валеная шляпа сдвинута на ухо, и из-под нее режущим взглядом смотрит пара небольших серых глаз. Широкое лицо Окини, обрамленное небольшой русой бородкой, выглядит добродушно, и по его широким губам бродит неизменная улыбка. Из-за белых, частых зубов Окини так и сыплются бесконечные шуточки,



прибауточки, пословицы и присказки. Даже в опасных местах Окиню не оставляет его неизменное добродушие. Плавать по межени, то есть когда вода в Чусовой стоит низко, составляет гигантский труд: на протяжении почти четырехсот верст нужно знать, как свои пять пальцев, каждый вершок, иначе барка будет садиться на каждой мели, на каждом таше. Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается все течение Чусовой и он помнит тысячи мельчайших подробностей ее течения, берегов и русла. Кроме реки, он в несколько часов должен изучить все особенности своего судна, потому что между барками, как и между людьми, громадная разница, хотя на первый взгляд они, кажется, ничем не отличаются друг от друга. Живая сила, которой располагает Окиня в данный момент, тоже должна входить в его соображения, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Большинство бурлаков знакомы Окине несколько лет, поэтому он только мельком взглянет на новичков, прищурится, и на барке, как у себя дома на печке.

– Эй, служивый, не надсаживайся больно-то! – покрикивает Окиня. – Пожалуй, с натуги спина заболит... Девоньки, грузочки молоденьки, помешивай!.. А ты, Федя, не больно, тово, на девок-то не заглядывай...

Бурлаки посмеиваются. Звонкий голос Окини вызывает на суровых, изветрелых лицах ряд улыбок. Но нужно видеть старика в трудных местах, когда приходится «переби-

вать струю», «отрабатывать от камня» или пробежать щукой под самым «бойцом». Он стоит на палубе, широко раздвинув ноги, кафтан распахнулся, голос крепчает, глаза остановились на одной точке.

– Родимые, не выдай!.. Корму поддержи... Нос налево, нос налево! Сильно-гораздо нос налево! Молодцы, нос налево!.. Навались, братцы... Шабаш нос-от!..

На корме подгубным Мамко, тоже утчанин, широкоплечий молодой парень с белокурой физиономией. Рядом с ним стоит небольшого роста, некрасивый мужик с редкой черной бородкой, Гаврилыч. За ним, рядом, стоят молодые парень и девка, Лекандра и Анка. Лекандра поражает своей мизерностью, особенно рядом с Мамком; это просто мусорный парень, как его называют бурлаки. Одет он в рваный зипунишко, лапти и меховую шапку. Рябое лицо Лекандры с узкими карими глазами более чем некрасиво; движения вялы, – вообще, как есть несуразный парень. По другую сторону поносного стоит сестра Рыбакова, среднего роста пожилая женщина с необыкновенно звонким голосом; рядом с ней прижался к бревну бывший заводский служащий Минеич. Жалко смотреть на его тщедушную фигурку, на которой, как на вешалке, болтаются отребья длиннополого суконного сюртука. За ним стоит заводская косточка, тагильский мастеровой Афонька. Можно им залюбоваться. Ему едва минуло семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди, которая так и выпирает из-под разреза рубахи косоворотки; ка-

кое открытое, смелое лицо с прямым правильным носом и большими серыми глазами!.. Слегка рыжие волосы прикрыты обносками отцовской шляпы, на ногах стоптанные сапожишки, на шее донельзя заношенная косынка с измочаленными концами.

– Ты, Минеич, не изломай поносного-то, – шутит Окиня, подмигивая и причмокивая. – Пожалей хоть дерево-то, ежели себя не жалеешь, старый-немолоденький!..

– У нас свадьба, Окиня, – говорит Афонька, встряхивая волосами. – Вон Лекандру с Анкой водой не разлить... Точно их приклеили к поносному!

– А тебе завидно? – спрашивает Лекандра.

– Стал я глядеть на этакое косое дерево!.. – презрительно отзывается Афонька.

Анка, небольшого роста, смуглая, круглолицая девка, была бы, пожалуй, красивой, если бы ее не портил косой глаз. Одета она лучше других и держится постоянно около Лекандры, потому что из одной с ним деревни. Эта парочка сосредоточивает на себе внимание кормовой палубы, и все изощряют на ней свое остроумие.

Когда я только что вошел на барку, бурлаки на первый раз показались какой-то безличной массой, из которой только после внимательного наблюдения выделились мало-помалу эти типичные физиономии, костюмы и характеры. Не прошло нескольких минут, в течение которых бурлаки оглядывали друг друга, как уже безмолвным соглашением вырабо-

талось то неуловимое общественное мнение, которое сказывалось во всем – в интонациях голоса, во взгляде, в движениях. Утчане, конечно, стояли на первом плане; они составляли ядро, их мнение брало перевес во всех вопросах; за ними выделились заводские: Афонька, старик в войлочной шляпе, Гаврилыч, Минеич. Остальные, как сброд, не пристали ни к кому, а так и остались сами по себе. Женщины вообще не шли в счет за исключением Степаньки, которая слыла любовницей Рыбакова, и поэтому над ней не смели подшучивать с такой откровенностью, как над Анкой или Лушкой.

– Разве в бабе есть душа? – резонирует водолив Прошка, ужасный враг всех женщин. – В бабе пар, а не душа... Как все равно в курице. Потому им и цена такая: мужику до Левшиной дают восемь целковых, а бабе – четыре. Ежели бы я был сплавщиком, я бы всех этих баб за косу да в воду...

– Ишь, какой строгой, – замечает сестра Рыбакова. – В бабе пар, а в тебе што? Ты лучше расскажи, как тебя жена дома ухватом обхаживает... Поди еще теперя бока болят?

Прошка только крутит своей черноволосой головой и отмахивается руками. После сплавщика водолив – самое значительное лицо на барке, потому что, во-первых, на его ответственности весь груз, а потом он следит за исправностью судна, чтобы не было течи, не выпадала конопатка, не накопилось много воды. Водолив нанимается обыкновенно до самого места назначения, барки и получает жалованье помесячно. Сплавщик и бурлаки оставляют барку в Левшиной,

последней пристани на Чусовой, а водолив остается до сдачи металла. В случае, если бы барка разбилась или окончательно обмелела, сплавщику и бурлакам больше нечего делать, как только брести по домам, а водолив остается караулить. Поэтому в водоливы выбираются самые надежные мужики, особенно на барках с медью. Нет ничего легче, как взять двадцатифунтовую штыку меди и незаметным образом вынести на берег или даже спустить в воду, чтобы на обратном пути продать эту лакомую добычу. Водоливу приходится день и ночь следить за бурлаками, иначе он может жестоко поплатиться, потому что у него вычтут из жалованья за всякую недостачу меди.

Прошка был пробойный мужик, тертый калач и хаживал на барках водоливом до Петербурга. Благодаря этим путешествиям он уже вошел во вкус подлаживания под барина: умел угодить, прислужиться, чего совсем не было в Окине. Мне нужно было доехать на барке только до Кыновского завода, верст семьдесят, но Прошка сейчас же разгородил свой балаган на две половины и предоставил одну из них мне, как барину. Эта политика была очень незамысловата, но приводила в изумление бурлаков. Эти угрюмые создания еще не освоились с тем типом барина, который дает на каждом шагу на чаек и на водку: для них барин являлся в образе караванного, исправника, приказчика и тому подобной грозу наводящей братии. Впрочем, я был очень благодарен Прошке за его любезность, потому что было очень холодно и вдобавок

начинал накрапывать осенний дождь. Лежать в такую приятную погоду даже под прикрытием рогоженного балагана составляло истинное счастье, блаженство, сравнительно с положением несчастных бурлаков, которым приходилось стоять у поносного под открытым небом.

– Что же они не наденут ничего на себя? – спрашивал я Прошку, когда дождь смочил у всех рубашки и заставил Окиню застегнуть кафтан.

– Было бы чего надеть, барин...

– Неужели у них больше ничего нет с собой?

– Все на себе; в котомках хлеб да харчи. Разве у баб есть што-нибудь.

– Ведь холодно... Как они поплывут?

– Вот так и поплывут...

Оставалось только пожать плечами. Мне было холодно в теплом осеннем пальто, под прикрытием балагана, а там стояли люди в одних рубашках под холодным осенним дождем. Нужно заметить, что осень на Урале вообще стоит всегда холодная, а на воде еще холоднее, чем на берегу.

– Привышный народ, – говорил Прошка, являясь в балаган с медным чайником вскипяченной для чаю воды. – Им не впервой в одних рубахах плыть. Ну, да и на работе тоже греются... Водку берут другие.

Мне просто было совестно прохлаждаться чаем в балагане Прошки и возбуждать общую зависть этой роскошью. На одном плесе, где не было работы, я пригласил Окиню и Ми-

неича, а остальным бурлакам пообещал водки в первой деревне, какую встретим на берегу.

Сплавщик пришел первым. Перекрестившись, он осторожно налил чаю на блюдечко и, отдувая пар, выпил стакана четыре. В широкую щель, которая образовалась между рогожами, он следил все время за берегом и время от времени командовал «ударить нос направо» или «поддормать корму».

– Ему глаза завяжи, так проплывет, – говорил Прошка, кивая на сплавщика.

– Всяко, Прошь, бывает, – уклончиво отвечал Окиня.

– Мы где сегодня остановимся? – спрашивал я, потому что начинало уже вечереть.

– Зачем нам останавливаться?

– Как зачем: ведь ночью не поплывешь здесь...

– Ничего, бог поможет, проплывем.

– Да ведь темно будет?

– По приметам сбежим... На камни будем глядеть.

Бурлаки никогда не говорят, что барка плывет, а непременно «бежит»; горы они называют камнями. Поблагодарив за угощение, Окиня ушел на свою скамеечку, а вместо себя послал Минеича. На бедняка было страшно смотреть: это был скелет, обтянутый кожей. Все на нем было смочено до последней нитки. Худое, изможденное лицо смотрело таким страдальческим, губы посинели, кожа получила мертвенно-серый цвет. Тощая, жилистая шея была вытяну-

та, пальцы на руках судорожно скорчились и даже почти почернели. Мне показалось, что Минеич замерзал.

– Минеич у нас завсегда в худых душах, – шутил Прошка (на заводах выражение «в худых душах» равносильно нашему «при смерти»). – Ты которую путину ломаешь, Минеич?

«Сломать путину» – значит сплыть на барке.

– Пятый раз плыву, – отвечал служащий, принимая дрожащими руками стакан чаю.

– Вы раньше в Тагиле служили?

– Да, служил... Лет двадцать послужил, а потом отказали от службы.

– Что же, у вас семья есть?

– Как же, и жена и дети. Целых пятеро... Да, четыре девочки и один мальчик.

Минеич с жадностью глотал горячий чай. Его бесстрастный, взгляд оживился, и он только вздрагивал, когда струйка холодной воды пробегала у него по спине.

– Неужели вы никакой другой службы себе не нашли? – спрашивал я.

– Был несколько лет учителем, потом штегерем... Везде отказывают.

– Все водочка нашего брата в малодушие производит, – резонировал Прошка, когда Минеич уплелся на палубу.

– Когда же бурлаки спать будут? – спрашивал я.

– По сменам спать будут. Вот приткнемся где-нибудь к огрудку или набежим на таш, тогда спи, сколько влезет. Или



вот когда из камней бежим, за Камасиным места открытые  
пойдут, ветер как ударит – и стоишь дён пять в другой раз.  
В камнях и успеваем поскорее выбежать...

## II

Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног – все это глухо отдавалось здесь, как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать великанов, заполнили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выскакивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер. Вглядываясь в эту траурную зелень, глаз отыскивал и здесь оригинальную могучую красоту: свет и тени, резкие контуры и темные цвета складывались здесь в удивительную картину. Местами горы поднимались выше, лес редел, являлись обнаженные горные

породы, где только редкие деревья лепились по трещинам и уступам, как солдаты, бравшие штурмом неприступную крепость. Вон в одном месте стройная, как девушка, молоденькая ель бойко взбежала на самый верх, но здесь точно ее встретили залпом, и она, как смертельно раненная, повисла на страшной высоте. Можно различить даже узловатые корни, которыми молодое деревцо ухватилось за острые камни, и кажется, что это судорожно сжатые руки вросли в тощую, почву. В другом месте на выступе скалы укрепилось десятка полтора елей; они точно остановились здесь отдохнуть и с гордостью смотрят на товарищей, которые поднимаются к ним снизу. Вот раненое деревцо подхвачено руками товарищей; вот лежит несколько убитых; вот отступающий неприятель... Право, глядя на эти причудливые группы красивых елей, невольно олицетворяешь их, тем более, что эти деревья действительно ведут вечную борьбу за существование, за каждый вершок земли, за каждый луч света, за каждый глоток воздуха – между собой, со скалами, с бушующей внизу водой, с бурями, непогодами и глубокими северными снегами. Кое-где сверкает золотой листвой осина, подойдут к самой реке несколько скромных березок, высоко поднимется лиственница с широко распростертыми ветвями, встанут в сторонке несколько сосен и рябин – и опять ели заполоняют все кругом. Это их царство.

Некоторые скалы тянутся версты две, точно плывешь по узкой извилистой улице какого-то мудреного средневеково-

го города.

На нижней части этих скал можно ясно видеть высоту весенней воды, которая поднимается иногда аршин на семь выше обыкновенного горизонта. Под некоторыми камнями, где течение реки суживается или река делает крутой поворот, вода поднимается еще выше, точно собирая все силы против своего главного врага. Теперь на мягком известняке можно видеть только грязные полосы.

Форма этих скал самая разнообразная, и можно только, удивляться, как еще держатся некоторые массы камней, — они уж наклонились и, кажется, готовы ринуться в реку, которая сосет их. В некоторых местах так и кажется, что эти скалы не игра слепого случая, а результат работы разумных существ: вот правильно заложенная стена, вот фундамент какого-то здания, угол дома, легкая башенка, смело поднятый свод... Иллюзия настолько сильна, что глаз различает даже отдельные кирпичи, из которых возведены эти дворцы, башни и стены. На вершине некоторых скал лепится несколько почерневших и покосившихся крестов.

— Это что за кресты? — спрашиваю я у Рыбакова.

— А когда весной барка убьется под камнем и кто из бурлаков утонет, — вот и поставят крест на камне, — объясняет колосс.

Бурлаки под такими крестами снимают шапки и набожно крестятся. Ведутся разговоры, какая барка убилась здесь, почему, кто был сплавщиком, сколько утонуло бурлаков. Вспо-

минают разные случаи и приключения из собственной жизни. Лица оживляются, слышатся вздохи, иногда смех, потому что *du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*.<sup>1</sup>

– Когда я еще в учениках плавал, – рассказывает Окиня, встряхивая волосами, – чуть не потонул было. Ей-богу... Грех и смех! Барку гнал Гордей да под Молоковым ее и убил. Сила не взяла... А в те поры вода страсть какая высокая была. Весна вышла дружная, так все и поплыло. Ну, как мы наскочили на бойца, народ ошалел: кто котомку тащит из-под палубы, кто в лодку, кто за бревно, кто за доску... Каша кашей, а барка, как купчиха, так и села в воду. А я еще от дедушки слыхал, што в лодку таким делом ни-ни: зря друг дружку перетопят. Снял сапоги, выбрал досточку потолще и жду... А вода под Молоковым, известно, как в котле, кипит; убитую барку так дохлой кобылой по струе и несет. Страсть господня!.. Дело впервой, испужался до смерти... А тут еще народ в воде валандается, крик, стон... Плывет, плывет по реке бурлачек, захлестнет его валом – только и видел... Одни пузырьки по воде пойдут. А на барке с нами плыла одна баба. Она еще сватьей мне приходится... Ну, известно, бабье дело: совсем из ума вышибло, бегаёт по палубе, как овечка... Ах, думаю, пропадет, дура. «Сватья, кричу, держись за доску!» А она и слов уж не понимает, осатанела. Ну, я ее столкнул в реку, сотворил молитву да и сам за ней... А мою бабу, как редьку, так и повертывает в реку. Доплыл к ней, сунул

---

<sup>1</sup> От возвышенного до смешного – один шаг (франц.).

ей доску: держись, мол. Сватья ухватилась, а доска нас двоих не держит. Что будешь делать? Сватью столкнуть с доски жаль, а самому утонуть неохота, да еще сапоги у меня в руках-то, тоже жаль своему доброму попушаться. Все-таки пожалел бабенку, ослобонил ей доску, а сам сапоги в зубы да к берегу. Только этак аршина с два отплыл, оглянулся, а сватья со страху доску мою выпустила и опять редькой по реке-то... Ну, тогда в силе был, воротился, схватил ее за зипун и волоку к берегу... А сапоги все в зубах держу... жаль. Только моя баба как сгребется за меня, прямо за ногу: впилая в ногу, как щука, и шабаш... Не могу ее отцепить, и кончено. Ну, думаю, пришел мой конец: так ко дну и тянет, до берега еще далеко, а сватья меня не пускает. Опять сотворил молитву... Тут меня и просветил господь: как с сапогами-то да со сватьей нырну – она хлебнула воды и отпустила меня. Слава тебе, господи! Вынырнул; а сватья тонет уж, только ручка из воды выставляется. Я все-таки за ней... А сапоги все в зубах. Подплыл, схватил за волосы да на берег. И сватью выволок и сапоги соблюл. Откачали мы ее на берегу, я ей и говорю: «А ведь ты меня, такая-сякая, чуть не утопила...» «Ничего, говорит, не помню!» «Моли, мол, бога, что ты мне сватьей приходишься, а то не стал бы я нырять за тобой, как меделянский пес...» Наших в те поры человек шестнадцать утонуло.

– Со страхов, обыкновенно, друг друга и топят, – говорил Гаврилыч. – Мы этак же как-то плыли, а перед нами барка

и убейся... Ну, народ, обыкновенно, в воде тонет. Глядим, двое прямо к бойцу же и плывут. Один было схватился рукой за веточку – уцепился, висит. А мы на них к бойцу так стрелой и пластаем, взарез... Уж близко было, сняли бы беспрерывно, а другой-то подплыл да его за ногу. Ну, оба в воду, сердяги... Так и потонули ни за грош... Я так полагаю, – прибавил Гаврилыч после небольшой паузы, – что это блазнит человеку, когда он тонет... Может, ему нечистая сила глаза отводит: кажется, поди, что плывет к мелкому берегу, а тут вдруг головой о камень.

– А вот спросите, как Прошка барку убил под Горчаком – камнем, – говорил Мамко. – Я тогда с ним плыл... Тоже напримались страсти-то. Барку вверх дном выворотило.

– Прошь, а Прошь, расскажи, – упрашивали бурлаки.

– Отвяжитесь, черти... Ну, убил так убил, – отвечал Прошка, помешивая что-то деревянной ложкой в чугунном котелке, очень искусно пристроенном у самого огонька. – Вам какая забота?..

– Тогда с тобой служащий плыл? – спрашивал Окиня.

– Плыл. Какой-то уткинский.

– Ты его и утопил?

– Нет, он-то остался цел, а жена и четверо детишек тово...

– Захлестнуло валом?

– Не то штобы захлестнуло, а вроде как от своей глупости... Барку-то как бздануло о боец – батюшки мои светы: светопреставление! Она, как лошадь, на дыбы... Ей-богу!

Доски это летят, чугун, палубы, поносные, люди... А вода так и мелет, так и мелет. На верхней палубе была маленькая казенка пригорожена, ребятишки у служащего в ней и сидели. Сам-то с женой стоял на палубе вместе со мной... Как это барка сорвалась к бойцу, жена-то у служащего в казенку, за детишками, а четверых где зараз вытащишь. В одну секунду барка моя на дыбы, мы с нее горохом так и посыпались в воду, а потом барка этак плечом, плечом да и выворотилась вверх дном. Да не оказия ли: пятнадцать тыщев пудов чугуна было, точно вот кто схватил ее рукой да и переверотил!..

– Этакая силища у этой воды, братцы!..

– Бедовое дело, когда река играет...

– Ну, вылезли мы на берег, – продолжал Прошка, подбирая в огонь несколько поленьев: кто где!.. Как тараканы расползлись или вроде, если кошку за хвост в реку... служащий тоже выплыл, а барка вверх дном, пустая мимо нас плывет. Ни жены, ни детей... Как ударится, сердяга, о землю – тут и ума решился. Так в Пермь, в сумасшедшую больницу, и свезли.

– Да что ему за неволя была с караваном плыть?

– Да так сказывал, что трахтом до Перми надо было заплатить рублей двадцать, а тут даром довезут.

– Вот те и даром!.. А!

– Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие... Покорыстовался, а господь и нашел, – резонирует Гаврилыч.

– Ну, так, Гаврилыч, нельзя, – возражает Окиня. – Мало



ли народу по реке плавают: может, грешный-то выплывет, а святой человек потонет. Это уж не в наказание, а так, произволение божеское.

– Нет, Окиня, ежели кто грешный человек, – беспременно утонет. Взять собаку теперь...

– Ну, это другое дело, – решает Окиня. – Дай мне тыщу рублей, я и то не поплыву с собакой...

– По какой причине не поплывешь? – приставал Гаврилыч. – По той причине, что собака – все одно что черт... Нечисть и погань, одно слово. А грешный человек хуже пса...

– А если грешный человек покается, Гаврилыч? – спрашивает Минеич, прищуривая глаз.

– Да когда он успеет покаяться-то? Тут один секунд, и шабаш: только пузырьки...

– Ну, а если так: грешный человек видит, что барка на бойца бежит, он сотворит про себя молитву и раскается. Тогда как?

– Это ты, Минеич, правду сказываешь, – согласился Окиня. – Поэтому я пса никогда не возьму на барку... Пес разве может раскаяться? Может, в нем черт сидит, а он к тебе идет и этак хвостиком виляет.

– Вот тоже если свистеть на барке... – нерешительно замечает кто-то.

– Свистеть – это совсем другое дело, – говорит Окиня. – От свисту ветер поднимается... Уж это верно! Ты, Минеич,

хоть и был учителем, а этого не понимаешь... Верно тебе говорю.

– Да не может быть, – протестовал Минеич в качестве образованного человека.

– Этак-то вот по межени плыли мы в позапрошлом году с приказчиком одним, – рассказывает Окиня, болтая ногами. – Он вот так же: пустяки, говорит, старухи, говорит, наврали... Ходит этак по барке да посвистывает. Ну, думаю, свисти, только чтобы после не плакать. Выбежали это мы из камней, пониже Камасина, и принял нас ветер, и принял, и принял... Две недели выстояли у берега. «Ну, говорю приказчику после, будешь еще свистеть?»

Бурлаки хохочут. Минеич служит мишенью для шуток и остроот. Когда он пытается объяснить причины происхождения ветра, вся палуба помирает со смеху, и он смолкает. Дождь продолжает идти, точно сверху сыплется мельчайшая водяная пыль. На передней палубе бурлаки приуныли. Только солдат и неутомный Васька грызутся между собой.

– Молчи, кислая шерсть! – говорит Васька.

– А ты расскажи, как кислоту воровал? – спрашивает солдат.

Васька прославился тем, что однажды забрался на пристани в амбар и украл «кислоту». Он думал, что в бутылке водка или спирт. На беду, он еще упал дорогой, и ему жестоко обожгло все ноги. Вылежал в больнице месяца три, и теперь, как ни в чем не бывало, только посмеивается. Это об-

стоятельство сблизило Ваську с Рыбаковым, у которого он «в подружных», как говорят бурлаки.

– Эх, соколы ясные, синички-сестрички! – весело покривает Окиня на приунывших бурлаков. – Не весь голову, не печалуй хозяина!

Но эти возгласы плохо ободряют продрогших, полузамерзших бурлаков. Вечер приближается, всем хочется согреться и соснуть. Бабы суетятся около огня и воют с Прощкой из-за дров и из-за котелка. Прощка, из любви к искусству, ругается с ними напропалую. Бурлаков занимает эта сцена.

– Лушенька, голубушка, котелком-то его по башке окрести!.. – советует Окиня. – Ну, еще разок...

Сплавщику очень хотелось бежать целую ночь, но бурлаки начали роптать и, наконец, совсем взбунтовались.

– Издохнуть, что ли, нам? – заворчал даже Рыбаков, который вообще был скуп на слова.

– А черт ли вам не велел одежду брать с собой?.. – ругается Окиня на палубе. – Нанимаются, а дошло дело – на попятный двор.

– По ночам мы не нанимались плыть, – возражает старик с передней палубы.

– Верно, верно! – слышатся голоса. – Хвататься, Окиня, пора... Собирай снасть, ребя... Кто на берег?

Плыть на берег со снастью, то есть с канатом, вызвались Васька и Афонька. Они сели в косную, куда сложили им ка-

нат, и отвалили к берегу.

– Тут за мыском сичас кедрик стоит! – кричал Окиня, бегая по палубе. – А около кедрика пень, вот за него и закидывай снасть... Налево нос-от.

Хватка, то есть привал барки к берегу, – даже осенью «в камнях» довольно замысловатая вещь, потому что течение здесь довольно сильное и нужно много ловкости и умения, чтобы остановить барку. Про хватку весной и говорить нечего. Тогда сплошь и рядом рвется снасть или перегорают огниво, то есть деревянный столб на корме барки, на который наматывается снасть. Дело в том, что когда конец снасти укреплен на берегу за дерево, нельзя закрепить снасть на огниве мертвой петлей, потому что или снасть порвется, или вырвет огниво. Чтобы предупредить это, начинают травить снасть, то есть обернутую вокруг огнива снасть понемногу выпускают, и барка останавливается постепенно. Нужно видеть, какая сила развивается здесь от трения снасти об огниво: часто огниво загорается, и снасть его перерезывает. Если канат лопнет, концами может убить несколько человек, чему и бывали примеры.

Я с любопытством следил за всеми подробностями происходившей хватки. Косная быстро неслась к берегу. Прошка стоял на корме и разматывал снасть. Вот Афонька и Васька причалили к берегу, выскочили из лодки и вдвоем едва поволокли по траве тяжелый канат.

– Готово! – донеслось с берега.

Прошка ждал только этого слова и быстро навернул снасть на огниво. Барка вздрогнула, и канат натянулся, как струна.

– Трави снасть-то, трави! – орал Окиня. – Корму поддорми...

Прошка спустил немного снасть, огниво задымилось. Барка, точно живая, сделала еще несколько усилий, но, сознавая их бесполезность, тихо, кормой подошла к берегу.

– Шабаш! – скомандовал Окиня; все сняли шапки и перекрестились.

### III

Прошка был против того, чтобы «хвататься», потому что бурлаки пойдут непременно на берег, – чего стоит украсть полупудовую штыку. Когда бросали сходню, он стоял у борта и осматривал каждого, кто шел на берег. Скоро на берегу запылало несколько костров, около которых собрались кучки бурлаков. На барке остались: Гаврилыч, Минеич, старичок с передней палубы и сестра Рыбакова. Она варила теперь ужин и вообще играла роль хозяйки. Странное дело, даже на барке, среди этого отчаянного сборища и подонков общества, одно присутствие женщины вносило с собой теплый семейный характер и сейчас сглаживало те резкости, которые прежде всего бросались в глаза. Даже Прошка – и тот перестал ругаться, а сидя в тюках меди рядом с Окиней, терпеливо ждал варева. Впрочем, он зорко следил за берегом, и малейший шорох заставлял его вскакивать.

– Ведь и народец только, – ругался Прошка, – с живого кожу сдерут!..

– Ты, смотри, не сдери с кого, – спокойно заметила сестра Рыбакова; она держала себя очень степенно и плыла с исключительной целью «заработить» четыре целковых, то есть проплыть на барке, может быть, недели две да пройти обратно пешком верст триста.

– А ведь ты точно, Прошь, – говорил Окиня, подмиги-

вая, – ежели тебе в лапы попасть, обломаешь...

– Освежую, как есть, – соглашался Прошка, скаля зубы.

Незамысловатое варево скоро было готово, и вся компания разделила его по-братски. Здесь все были равны и ели в каком-то благоговейном молчании, осторожно отламывая кусочки хлеба, чтобы не уронить ни одной крошки, и старательно облизывали свои ложки. Глядя на этот ужин, кажется, мертвый захотел бы есть, так все выходило аппетитно. Вариво состояло из разваренной поземины пополам с просом. Когда котелок был пуст, все усердно помолились на восток и поблагодарили хозяйку, которая одинаково ответила всем: «Свое кушали».

Окиня ушел спать в балаган к Прошке, Гаврилыч свернулся клубочком тут же у огонька, на медных штыках, подостлав под себя рогожку и сверху закрывшись старым зипуном. Прошка бродил по палубам и от нечего делать вполголоса ругал кого-то: ему приходилось не спать целую ночь и караулить металл.

– Уж не знаю, идти на берег или соснуть здесь, у огонька? – размышлял Минеич, улыбаясь рассеянной, доброй улыбкой; он успел высохнуть около огня и согрелся варевом.

– А ты постой, – отозвалась сестра Рыбакова, мывшая в реке котелок и ложки. – У тебя на кафтане-то больно дыра велика... Сними, так я зашью.

– Будь такая добренькая, Савишна, – просил Минеич, снимая свою хламиду.

Савишна прибрала ложки и котелок, принесла из-под палубы свою котомку и добыла оттуда клубок ниток с иголкой и несколько лоскутков старого сукна и холста. Она широко растянула сюртук Минеича против огня и только покачала головой. Можно было подумать, что Минеич только что вышел из какого-то сражения, где его рубили саблями, кололи пиками и шальные пули рвали на клочья его одежду.

– Решето решетом, – проговорила Савишна, затрудняясь выбором зиявших перед ней дыр.

– Да, поизносился малость, – соглашался Минеич, с удивлением рассматривая свое одеяние.

Без сюртука, в старой, донельзя заношенной рубашке и коротких холщовых штанинах, Минеич имел самый жалкий вид: ввалившаяся грудь, тоненькие ручки и ножки, сгорбленная спина и вытянутая тонкая шея являлись во всей своей непривлекательной видимости. Когда Савишна, наконец, выбрала самую опасную, по ее мнению, дыру и присела с иглой к огоньку, Минеич сел около нее на корточки и, подперев свою птичью головку высохшей рукой, с тупой покорностью совсем беспомощного человека внимательно следил за ее работой.

– Уж только эти и мужики: ничего-то у них толку нет, – думала вслух Савишна, быстро работая иглой. – Ведь вот прибежим, Минеич, в город, получишь ты целковых пять, – ну, и заведи себе одежонку.

– А назад, Савишна, с чем пойду? Ведь триста верст пеш-



КОМ.

– Ну, оставь целковый.

– Дома жена, ребятишки... Им тоже надо.

– Так ты и принес домой жене денег... – покачивая головой, не в укор проговорила Савишна. – Ведь все до последнего грошика пропьешь в городе-то...

Минеич только поник головой, подавленный величием тех нужд и слабостей, из которых была соткана вся его мудреная жизнь.

– Все пропью... – глухим голосом проговорил, наконец, Минеич, махнув рукой.

– Я бы все до единого закрыла эти кабаки, – говорила тихим голосом Савишна. – Ну, чего ты придешь домой-то без грошика? А там жена голодом сидит, детишки... Эх ты, горе лыковое!

– Знаю, сам все знаю!.. – глухо проговорил Минеич, ударив себя кулаком в сухую грудь. – И жаль ведь мне их...

– С горя и выпьешь?

– Да, выпью, а потом приду домой, взгляну на эту свою бедность, – так вот точно кто ножом полыхнет по сердцу. Жена примется меня корить, а я ее тиранить... Ей-богу! Зверь зверем... Ребятишки кто к соседям, кто под лавку, а я ее тираню... Возьму да еще на колени возле себя на всю ночь поставлю или веревкой свяжу ей назад руки да ноги к рукам притяну... так она и лежит другой раз целые сутки.

– Зачем же вы так делаете? – спросил я, возмущенный

этим равнодушным повествованием о собственных мерзостях.

– Да как вам сказать... Я и сам не знаю, зачем ее тираню, а так... кажется, вот взял бы нож да на мелкие части всю ее и разрезал... Безответная она у меня какая-то, а меня это еще пуще бесит, потому как я все-таки муж, и хочется мне, чтобы она у меня на коленях прощенья просила. Ежели соседи кто заступятся, я еще хуже делаюсь, потому жена ведь моя... значит, я в своем праве.

– Ишь, какой Аника-воин, – равнодушно проговорила Савишна, не поднимая глаз от своей работы.

Меня поразило ее безучастное отношение к этим гадостям.

Я внимательно смотрел на тирана: кажется, пальцем его ткнуть, так и душа вон, а между тем это ужас целой семьи, ее страх и трепет. Мне пришли на память те богословские и юридические тонкости, которыми опутан союз мужчины и женщины. Ведь этот же самый Минеич и не подумал бы тиранить свою безответную жену, если бы не признавал себя вправе делать с ней что угодно; и вдобавок, если бы она ушла от него, он, по праву мужа, мог вытребовать ее по этапу и воздать ей сторицей. Удивительное дело!

– Ну, вот тебе и заплата, – говорила Савишна, возвращая Минеичу его сюртук. – Носи на здоровье...

– Спасибо, Савишна, – благодарил Минеич, влезая в свою систему дыр. – А ведь я раз совсем нагишом пришел было

со сплаву, – добродушно прибавил он, любуясь пришитой синей заплатой. – Ей-богу!

– Как не прийти нагишом: в кабаках кожу свою готовы пропить, – сквозь сон говорила Савишна, калачиком свертываясь около огонька напротив похрапывавшего Гаврилыча.

– Как же это вы ухитрились? – спрашивал я, раскуривая папиросу.

– Да самое простое дело... В Перми деньги все пропили с бурлаками, а ведь дорогой, с устатку, тоже выпить хочется; ну, дойдешь до деревни, что-нибудь и заложишь, а потом в одном кабаке и рубаху со штанами пропил. Ей-богу!.. Так нагишом и пошел. Добрел до первой деревни, мужики в поле, а бабы как увидели меня – бежать. Я вошел в избу, захватил какие-то лохмотья и ушел. Все-таки хоть и дыра на дыре, а не нагишом. Ох-хо-хо!.. Господи батюшка, прости ты наши великие согрешения!..

– Чистые псы эти мужики в другой раз, – отозвалась Савишна, подняв голову. – Только и заботы, чтобы глотку налить винищем, а наша сестра колотится хуже всякой лошади двужилной, да ее же еще тиранят. Теперь взять мое дело: зароблю четыре целковых, один целковый проем в передний путь, а другой в обратный... значит, на руках останется всего два целковых. А одежда, а обутки – ведь носится все...

– Разве у вас на пристани нет другой работы? – спрашивал я.

– Да какая, голубчик, бабе работа, особливо при бедно-

сти? Тут хоть свою голову прокормишь да на обутики заробишь, а дома что – дома и этого не заробишь. Теперь взять хоть пряжу... В день нарядешь, ну, пасма четыре али пять, а за пасмо получишь по грошу, значит, две копейки на день придется. А ведь надо встать в четыре часа утром-то да до поздней ночи, не сходя с места, робить. А лен-то чего-нибудь стоит? Вот какая наша работа, голубчик. Зимним делом, когда уже совсем деваться некуда, ну, торчишь день-деньской за прялкой... В зиму-то цельную хоть на одежонку сколотишься, а поить, кормить кто станет? Ладно, у кого мужья хорошие, а наша сестра-бобылка много слез напринимается... Да еще бога благодаришь, что хоть и с пустым брюхом ляжешь спать, зато ты не бита, ребятишки с холоду да с голоду не колеют около тебя. Мудреная наша бабья жисть, барин...

– Тоже всякие из вас есть, – говорит Минеич, выставя голову из-под своих дыр. – Другие... хе-хе!..

– Чего другие? Ой, Минеич, Минеич, грешно так говорить!.. Вот хоть взять Лушку или Степаньку, – ты думаешь, сладко им живется?.. Нам тяжело достается, а им вдвое супротив нашего... Только ведь по молодости доводят себя до этого, по своей женской глупости и малодушеству...

Дождь немного перестал, но небо было темно, и желтоватые облака неслись над самой землей. Река тихо бурлила, слегка покачивая барку. Огонь освещал спавших да темную фигуру Прошки, который безмолвно сидел на передней па-

лубе. На берегу горело несколько огней, освещавших деревья и темные фигуры бурлаков. Изредка доносились голоса разговаривавших. Где-то в лесу ухал филин. Мне не хотелось спать, и я пошел к ближайшему огню. Могучая, старая ель наклоняла над ним свои лапчатые ветви зеленым шатром. Изредка пламя косматыми языками рвалось вверх и добиралось до самых ветвей, которые слегка трещали и долго светились медленно тлевшими иглами. Вокруг огня в разных позах расположились бурлаки. На первом плане лежали Мамко и Афонька. За ними виднелись фигуры Лушки и Анки – Анка сидела, прислонившись к стволу дерева, а Лушка лежала на брюхе.

– Можно погреться у вашего огонька? – спросил я.

– Известно, можно, – отозвался Афонька.

Я тоже прилег на сухую хвою. Мое появление, видимо, прервало какой-то интересный разговор. Мамко повернул свой бок к огню и наслаждался ощущением теплоты.

– Так что, говоришь, дядя-то? – спрашивал Афонька.

– Дядя-то... А дядя, братец мой, порешил жену-то, – повеествовал Мамко. – А сам в скиты ушел, к старцам. ... После ее в проруби нашли. Страсть глядеть: чересседельник на шее, язык высунула. И как это рука только у человека поднимается на этакое дело! Да вон Васька или Рыбаков... только кажется чего-чего они не придумают, и все на пакость, все надо погалиться над девками! Как-то раз Васька и говорит: «Пойдем, Мамко, в лес с нами». «Пойдем»... Рыбаков был с

нами. Приходим в лес, а там девки уж ждут. Водка была с собой, закуска, пряники. Выпили и девкам поднесли. У Васьки своя любезная, а у нас с Рыбаковым свои. Еще выпили, а Васька отчаянный, ежели и тверезый, а пьяный хуже черта. Вот и придумал. «Ходи на четвереньках!» – кричит Васька своей. Мы хохочем... Смех!.. Потом заставил ее на сосну залезть и отсюда лаять по-собачьему. «На кого лаешь?» – спрашивает Васька. «На тебя, Василий Маркыч»... «Слезай!» Он тут и давай колышматить и давай колышматить, а сам приговаривает: «Зачем на хозяина лаешь? Не лай на хозяина!» Уж он ее бил-бил-бил, а потом давай ногами топтать. Насилу мы ее у него отняли. «Проси прощенья у моих дружков!» – кричит Васька. Валяется девка у нас в ногах, а Васька хохочет. После они с Рыбаковым чего с ней сделали: увели тоже в лес, раздели, да голую на муравейник и посадили... Сами водку пьют, а она на муравейнике жарится.

– Ах, псы этакие! – возмущается Афонька, у которого в глазах видно сострадание. – За что же они так девок мучают?

– Да так, для своей потехи... А тут взяли да одной ворота дегтем вымазали, потому что была честная и им не давалась в руки. Так ту отец опять давай колотить. Раздел донага, привязал руки к коромыслу, привязал самое к столбу да хлыстиком и давай изуваживать... так всю кожу до пят и спустил. Терпела она, терпела – да в воду, а после, как ее дохтур стал потрошить, она как есть честная девка оказалась. Так отец-то волосы после рвал на себе...

– Ах, варнаки! – ругался Афонька. – Вот ищо варнаки-то!!.

– Отцу-то каково было, а? Ведь кому ворота взмажут, да тут глаза в деревню показать нельзя. Срам всей родне. А уж девке чтобы после этого замуж – ни в жисть! Кому охота на себя петлю-то надевать: одни дружки-приятели проходу не дадут... В другой раз этот же Васька поймал собаку, с живой кожу содрал да так по улице ее и пустил.

– Они вот еще что-нибудь устроят, – говорил Афонька. – Долго ли штыку стащить.

– Это у Прошки? Ну, нет... Он насквозь каждого человека видит. Бе-едовый, двух жен уходил, теперь третью в гроб вколачивает... Еле живехонька бродит. Вот у него, у лешака, какие безмены-то: как поднесет раза – да тут пять раз другая бабенка помрет.

– Ну, только и народ... – задумчиво говорил Афонька, встряхивая рыжими волосами. – У нас заводские бойки, а ваши пристанские превосходнее... Прямые разбойники!..

– Да тебя как к нам занесло-то?

– Как... Известно, не от ума. Отец у меня мастером на катальной, ну, листовое железо где катают. В выписку, в две недели значит, рублей двадцать заробит. Мастерам житье. Ну, у нас дом и все это прочее – как следует. Богато живем... Утром встанешь, а мать уж всего наварит и настряпает... В достатке живем. Только отец как определил меня на фабрику, мне там и не поглянись. Конечно, глуп человек... Мате-

рин сынок. Больно уж тяжело в четыре-то часа вставать да до семи вечера на фабрике робить... Так бы вот не глядели глазоньки! Ну, попробовал было прикинуться, что захворал, мать лекарку привела, а отец смотрел, смотрел да как принялся меня супонью охлаживать – всю боль как рукой сняло. У меня отец, ежели рассердится, делается вроде как твой дядя – што под руку попало, тем и хватит. Ей-богу... Сердце у него больно горячее!.. Ну, походил я этак с полгода на фабрику, а потом и надумал бежать... Да вот второй год теперь и брожу.

– Без пашпорта?

– Какой тут пашпорт: ноги вместо пашпорта...

– Отчего же ты к отцу не воротишься?

– Ишь, гладкой какой! Ступай-ко сам к моему-то отцу, покажи ему рыло – да он разорвет, как кошку. Вот из-за своей глупости всю эту муку и принимаю... Так переколачиваюсь, где лето, где зиму. В Кушве, в Кыну, по пристаням... Теперь у меня такой расчет: поброжу этак годика с три, а потом к солдатчине, как жеребий братъ, и объявлюсь прямо в волости. А к отцу все-таки не пойду.

– Спать пора, – говорил Мамко. – Окиня завтра поднимется... еще черти в кулачки не бьются.



## IV

На другой день, когда я проснулся, барка давно уже плыла. В моем балагане было страшно холодно. На барке точно все вымерло, ни одного слова, только вода тихо бурлила у бортов да скрипели поносные. Даже не слышно было команды Окичи, из чего можно было заключить, что барка плывет по плесу, то есть по тихому месту реки, где вода стоит как зеркало. Прошки не было, и я окликнул его.

– Белые комары, барин, – заявил он, появляясь с кипевшим чайником. – Поди, цыганский пот пробрал? Вот уж погрейтесь около чайничка-то...

– Какие белые комары?

– А вот поглядите сами на них.

Я выглянул. В воздухе тихо кружились белые хлопья снега. Они падали вместе с каплями дождя и покрывали барку тонким мокрым слоем. Бурлаки стояли на палубах молча, с тем тупым выражением чувства покорности, когда человек сознает, что ему нет выхода. Сестра Рыбакова и старик с носовой палубы прикрылись рогожками. Остальные были в прежних костюмах. Дождь давно смочил на бурлаках все их жалкие лохмотья до последней нитки. Васька и Афонька стояли в одних рубахах, очевидно из хвастовства, не желая наряжаться в мокрые рогожи. Впрочем, последние едва ли могли спасти их от страшного холода. Минейч совсем съе-

жился и только жалко хлопал глазами, как голубь, у которого вынута половина мозга. Издали было заметно, как пар поднимался над бурлаками, а Рыбаков и Мамко просто дымилась. Даже Окиня, и тот заметно приуныл и с немым укором причмокивал губами. «Эх, дескать, уж и угораздило тебя, снежок»...

– Бурлаки замерзнут, – говорил я, возвращаясь под сень своего балагана, который казался мне теперь лучше всякого дворца. – Ведь это ужасно... Они стоят под снегом чуть не голые! Они непременно замерзнут.

– Не впервой! – утешал Прошка, для которого это заветное словечко был ответом на все вопросы.

– Тебя поставить бы на палубу-то в одной рубахе, так другое заговорил бы...

– Стаивал и я, барин. Хуже бывало... На внешнем сплаву барка как сядет на огрудок или обмелеет, тогда ее сымать-то потруднее, чем теперь стоять у поносного.

– Чем труднее?

– А тем труднее, что приходится в воду лезть, а вода в те поры как есть ледяная. Ты барку сумаешь, а по реке лед плывет... Вот тогда как? Часов пять другой раз в воде по брюхо стоишь...

– Как же это? Простудиться можно!

– И студятся... Как не студиться, ежели теперь лед. Другие совсем даже без ног остаются. У нас таких человек пять на пристани есть: отнялись ноги, и шабаш. Человек ищо мо-

лодой, а куда он без ног-то: калека – калека и есть, одно слово. Милостинку просить – только и всего ремесла.

– Да вон поставь Минеича в воду – он тут и умрет.

– А вот это ты не ладно говоришь, барин. Недаром старики-то сказывают, что скрипучее дерево два века живет... Я нарочно замечал, что который бурлак в прыску, тот и погинет. Верно говорю... А Минеич не то! Минеич так в худых душах и останется, он отдышится, потому у него уж состав такой: кожа да кости. А вот скоро работа будет, согреются, – прибавил Прошка.

– Какая работа?

– Да к Кыну переборы пойдут, тут много работы будет...

Еще попарят лоб-то, даром что снег идет.

Вид берегов днем, при ярком освещении, полон самых оригинальных красот. Даже под дождем эти красоты сохраняются, хотя перспектива исчезает и даль представляется мутным пятном. Но снег сразу меняет картину. Нет ничего печальнее вида еще зеленой травы, которую заживо хоронит слой снега. Вам кажется, что эти зеленые стебельки чувствуют собственное замерзание и напрягают последние силы, чтобы пробиться из него зелеными усиками. Березы, рябины, ивы – вообще лиственные породы – разделяют общую участь с травой, с той разницей, что листва давно пожелтела и значительно поредела, так что эта последняя борьба между жизнью и смертью не бросается в глаза так резко. Один хвойный лес ничего не теряет от этой перемены, а даже вы-

игрывает: омытая дождем хвоя так и блещет своей темной зеленью, а снег ей нипочем. Самая вода в реке казалась теперь темнее и зловеще шумела на переборах и под камнями. Я долго смотрел кругом на измененную снегом картину. Сколько в ней теперь печального!.. Что-то точно давило самую душу при виде этой умиравшей зелени.

Бурлаки с ходу переругивались, точно от этого можно было согреться. И по тону и по содержанию этой ругани видно было, что она ведется *pour passer le temps*:<sup>2</sup> не было настоящего огня. Последнее происходило, может быть, и оттого, что публика относилась к этой ругани совершенно равнодушно, а равнодушие может убить даже истинного артиста. Ваське надоело ругаться с солдатом, и он теперь изощрял свое остроумие на «заводчине» Афоньке.

– Жжены пятки, калёны носки! – кричит Васька. – Сидел бы лучше у матери на печке да перегребал золу, заводчика...

– А ты, бурлак-ершеед, лаптем подавился, – отвечает Афонька.

– У вас с солдатом одна вера-то: чужими руками жар загребать... Я, кабы был сплавщиком, беспременно велел бы утопить вас в первом переборе. Окиня, ты скажи нам только одно слово, мы с Федей завяжем заводчину и солдата узлом да в Чусовую. Пусть ершей половит...

– Эк тебе, Васька, нейметя, – говорит старик. – Ведь сам околел, а все еще ругается...

---

<sup>2</sup> Для того, чтобы провести время (франц.).

– Мне тепло, – отзывается Васька, встряхивая волосами. – Вон заводчина зубами стучит, как в кузнице!..

Барка медленно скатывается под нависшие утесы. Скалы кажутся теперь еще выше и угрюмее. Поносные глухо вспенивают воду. Мы плывем под Оленьим камнем. По преданию, преследуемый охотниками олень бросился с высоты этой скалы прямо в реку. Это *salto mortale*, конечно, стоило бедному животному жизни, потому что скала здесь поднимается над водой сажен на сорок, если не больше.

В одном месте выглянула на берегу деревенька. Бурлаки выпросили у водолива лодку и отправились за провизией, «за харчем». На корме лодки сидел солдат, в веслах – Васька и Степанька; на носу помещался Рыбаков.

– Только у меня чтобы без баловства, – говорил Окиня, отпуская бурлаков. – Ты уж, Федя, смотри, пожалуйста, тово...

– Не впервой, – угрюмо отвечал Федя, не поворачивая своей буйной головы.

– Ну, они так не приедут, – говорили бурлаки.

Лодка обогнала барку и пристала к мысику, на который высыпало десятка два домиков. Бурлаки скоро скрылись в ближайших избах. Снег продолжал падать мягкими хлопьями; в воздухе стояла пронизывающая сырость. Бурлаки попеременно грелись у огня и выпрашивали у Прошки котелок для варева. Десятка два ложек горячей жижи едва ли в состоянии согреть продрогших насквозь людей. Афонька

посинел и стучал зубами, Минеич походил на мокрого цыпленка, который только что вылупился из яйца; припоминая вчерашние разговоры, я совсем не жалел этого несчастного служащего. Уж лучше бы ему умереть, чем вернуться обратно домой и тиранить несчастную жену.

– Ах, псы!.. – ругался Окиня, высматривая из-под руки вверх по реке, по направлению к оставшейся назади деревушки, от которой отделилась черной точкой лодка. Да не ерники ли, не варнаки ли?..

– Чего ты ругаешься, Окиня?

– Да вон псы-то, остались в деревне... Только двое плывут, – один в веслах, другой на корме. Ах, варнаки, варнаки!..

Как я ни напрягал зрения, решительно невозможно было ничего рассмотреть в догонявшей нас черной точке. Только орлиный глаз Окини был в состоянии различить даже фигуры людей.

– Курва Степанька в веслах сидит, а на корме солдат... Да не мошенники ли, а тут сейчас работа!.. Ах ты, господи милостивый!..

– Почему ты думаешь, что это плывут непременно Степанька с солдатом?

– Да ведь сразу видно... Эвона как веслом-то бултыхает, точно квашонку мешает, – известно, бабье дело! А лодка-то из стороны в сторону так и мотается, небойсь, у Федя с Васькой бежала бы как по струне.

Лодка нас догнала через четверть часа. В ней действитель-

но сидели только Степанька и солдат; в носу помещалась закупленная провизия; картофель, ковриги хлеба, что-то завернутое в грязную тряпицу.

– Ничего, догонят, – успокаивал сплавщика Прошка.

– Знаю, что догонят, на берегу не останутся...

– А как они будут догонять барку? – поинтересовался я.

– А вот увидишь... Это уж их дело. Прошь, припаси-ка новенькую лычагу. Надо будет поучить ребят...

Прошка отправился в свой балаган и вынес оттуда свернутую вчетверо веревку из лык, какой были перевязаны медные штыки в тюках.

Я с нетерпением ждал этой науки «ребят», но барка плыла вперед, а их все не было.

– Вон за этим плесом сейчас перебор будет, – говорил Окиня, с беспокойством поглядывая назад. – Вода мала, как бы на таш не наткнуться.

Барка тихо катилась по неподвижно стоявшей воде. Мы огибали широкую излучину, в которой вода точно замерзла и не двигалась. Берега поросли дремучим хвойным лесом, из которого виднелись только вершины лиственниц. Где-то слабо посвистывал рябчик, нарушая царившую кругом мертвую тишину.

– Плывут!.. – пронеслось по барке, когда из-за мыса, пересекая реку, показалась узкая однодеревка, лодка-душегубка, как называют здесь такие лодки. Она так низко сидела в воде, что бортов совсем не было видно и люди, казалось, плыли

прямо по воде. Теперь уж можно было рассмотреть массивную фигуру Рыбакова и Ваську; на корме сидел плешивый седой старик и с песнями бойко гнал лодку одним веслом.

– Ишь, как весело плывут! – любовался Прошка.

Лодка причалила к борту. Бурлаки вылезли; старик в лодке крепко стоял на ногах, – видно, что с детства вырос на воде.

– Весело плаваешь, дедко, – переговаривались бурлаки со стариком.

– Изуважить хотел бурлачков, – молодецовато отвечал старик, подмигивая глазом: – Славные ребята...

– На што лучше, дедко.

– Ты чего тут торчишь? Отваливай! – кричал Прошка. – Еще штыку выудишь, пожалуй...

– Да вот мне расчет с молодцов надо получить.

– Какой тебе расчет? – отозвался Васька. – Тебе, старому черту, заплачено сполна, и проваливай...

– Как заплачено? Ах, разбойники!..

– Ты еще ругаться!..

Душегубку оттолкнули, а старика Васька на прощанье из ведра окатил водой. Бурлаки хохотали. Когда ругавшийся старик, наконец, отстал, Васька вытащил из кармана кисет с деньгами и красный бабий платок.

– Купил, Васька?

– Известно, купил... Пока баба Степаньке отпускала картошку, я платочек выудил.



– А кисет где господь послал?

– Кисет стариков... Вот этого самого, што нас с Федей привез. Верст десять нас пятил, согрелся, а как скинул с себя кафтан, я в кармане и нашел.

– Ну, долго будет вас благословлять старик, – смеялись бурлаки. – Теперь, поди, парит лоб-то, сердяга. Верст двенадцать надо ему подниматься вверх по реке, а приедет домой – хватится кисета... А там уж баба о платке, как корова, воет! Да не варнак ли ты, Васька....

За этой сценой началось учение. Первого вызвал Окиня Рыбакова. Гаврилыч и старик с передней палубы разложили его на тюках, первый сел на голову, второй на ноги, Прошка стоял с лычагой в руках.

– Ну-ко, Прош, отпусти ему десяток...

Лычага засвистела в воздухе и оставляла синие рубцы на голой спине Рыбакова. Получив свою порцию, Рыбаков поднялся и как ни в чем не бывало встал на свое место к поносному. Васька сам явился на экзекуцию. Ему отсыпал Прошка целых двадцать ударов, но Васька даже не пошевелинулся. Этим наука и закончилась.

– Спасибо, Окиня, за науку, – благодарил Васька, приводя в порядок свой костюм. – Теперь малость как будто согрелся....

– В другой раз я тебя так согрею, что недели две у меня не сядешь, – сурово говорил Окиня. – Не нашли раньше время-то: как работа, вас и нет, чертей... Посадил бы полубарок

на таш, кто к ответе? С вас немного возьмешь...

Впереди уже шумели переборы, где ждала бурлаков работа. Река суживалась, и тихая поверхность плеса переходила в бурливший поток. Волны прыгали, как загнанное стадо овец. Струя подхватила сильнее нашу барку, и она начала вздрагивать. Я стоял рядом с Окиней и смотрел на приближавшиеся переборы. По моему мнению, никакой особенной ловкости не нужно было, чтобы пройти это пространство в несколько сажен: достаточно было знать, как идет русло. Окиня подтянулся и зычно покрикивал на бурлаков; я попросил его объяснить, в чем будет заключаться работа.

– А вот видишь первый перебор, – объяснял мне сплавщик: – тут мы пробежим по старице под левым берегом, а потом перекосим к правому... Вон на втором переборе, видишь, как посередине вода в двух местах маненичко взбуривает – это два таша лежат: один повыше, другой пониже. Ежели мимо одного далеко пройдешь, попадешь на другой.

– Что же ты будешь делать?

– Я-то?.. А видишь, надо по перебору вкось пройти. Вот тут и беда: маненичко, на волос прошибся, на таш струей и снесет... Теперь понял?

– Да, понял.

– Держи нос-от!.. Направо, молодцы!.. Постарайтесь, родимые!.. Похаживай, бурлачки...

Барка бойко врезалась в первый перебор. Довольно большие волны с шумом разбивались у бортов. Поносные с осо-

бенной энергией падали в воду и распахивали ее на две широкие волны. Бурлаки прониклись одним общим чувством самого напряженного внимания. Барка не была уже мертвой посудиной, теперь она скорее походила на громадное живое существо, которое было преисполнено напряжения всех своих живых сил; даже эти неуклюжие поносные можно было принять за две громадные руки, которые судорожно взрывали воду. Нужно было видеть в это время бурлаков. Я теперь только понял, чем славились утчане: едва сорвется команда с языка Окини, как все ударят поносным с таким напряжением, точно тяжелое бревно в руках восьми человек превращается в игрушку. Это называется «работать одним сердцем». Я просто любовался этой ничтожной кучкой бурлаков, которая в торжественном молчании пометывала поносное, как перышко. Подгубные работали за десятерых. Рыбаков и Мамко как-то особенно ловко срывали поносное, поднимали перо над водой и глубоко погружали его в волны. Можно пожалеть, что нельзя было срисовать эту кучку работавших «одним сердцем» бурлаков: они просились на полотно в своих энергичных позах.

– Шабаш нос-от! – крикнул Окиня, когда барка миновала первый перебор.

Теперь задача, которую предстояло нам разрешить, была очевидна и ясна: в самой середине второго перебора бурлившая вода обозначала лежавшие под водой таши, один немного выше, другой – ниже. Чтобы пройти мимо них, нужно бы-

ло перерезать перебор вкось, между ташами, причем следовало как можно более пройти к первому ташу, потому что водяная струя будет сносить барку на второй.

– Молодцы, ударьте нос налево!.. Нос налево! Сильно-го-раздо ударьте, молодцы!.. Молодцы, не выдай! – кричал Окиня, взмахивая рукой. – Корму поддорми!.. Корму... Корму!..

Сильная струя подхватила барку и стремительно понесла ее на первый таш. Мне показалось, что барка должна была разбиться вдребезги: так она близко прошла мимо холмика взбивавшей кверху воды. Нужно было теперь отбивать корму, которую сильно относило водой, но тут произошло что-то необыкновенное: в момент, когда я считал опасность уже миновавшей, барка с треском налетела на второй таш прямо своим правым плечом. Дно выгнулось, и барка, кажется, готова была сейчас переломиться пополам.

– Отуривайся! – скомандовал Окиня.

Барка отурилась, то есть повернулась кормой вперед, но этот маневр не мог ее спасти: она повертывалась на таше, как флюгер.

– Шабаш, – уныло проговорил Окиня, убедившись в невозможности сорвать барку с таша; он бросил на палубу свои кожаные рукавицы и почесал затылок. – Эх, угораздило... а! Сила не взяла...

Бурлаки бросили поносные и громко разговаривали. Вода страшно бурлила вокруг нас. Прошка вылезал из-под палубы, куда лазил осматривать, не повреждено ли дно.

– Эх тебя, Окиня, угораздило... а! – проговорил Прошка, тоже почесывая затылок. – Прямо, как есть, на быка залезли!..

– Ослеп, старый черт, – ворчал Рыбаков в кучке бурлаков. – Надо было раньше отбивать корму...

– Ты не ослеп, – ругался Окиня. – Как бы ты ее стал отбивать, ежели струя..

– А мы в воду не пойдем! – кричали бурлаки в один голос. – Снимай, как знаешь...

– Ах, вы, собаки! – ревел Окиня, бегая с одной палубы на другую. – Да как вы не пойдете, ежели надо сымать барку... Не сидеть же на ташу!..

– А вот подождем, когда вода сверху подойдет, – отвечал Рыбаков спокойно: – Тогда сама барка сымется...

– «Подождем!» «Сама сымется»... – передразнивал Окиня и, не найдя что возразить, только обругался крупной мужицкой руганью.

## V

– Дай мне отдохнуть, – советовал Прошка, когда мы вошли в балаган.

– Будь они от меня прокляты! – ругался Окиня.

– Сымем, Окиня, – утешал Прошка и, указывая глазами на небольшой дубовый бочонок, лежавший в углу, прибавил: – Вон силу-то раскубарим, так с головой в воду залезут... Пусть их поерошатся немного, отведут душу.

Мы напились чаю, Окиня с яростью отдувал пар с своего блюдечка и издавал время от времени какие-то неопределенные звуки. Бурлаки в это время собрались гурьбой около огня и ругали сплавщика; бабы суетились около котелков. Минеич грел руки над самым пламенем и морщил лицо; Рыбаков молча курил сигарку, заложив ногу на ногу.

– Меня хоть расколи, а я не полезу в воду! – кричал Васька, размахивая руками. – Мне што: не полезу, и шабаш... Околеть што ли мне для Окиньки?..

– Полезешь, пё-ос! – певуче говорила Савишна, помещивая одной рукой в котелке, а другой заслоняя лицо от огня. – Не бабам же сымать барку...

– Ишь ты, больно слизкая: не бабам!.. А чем вы святее нас? Подол в зубы да и в воду...

– За четыре-то рубля да в воду – жирно будет, подавишься, Васинька! Ты вот получишь восемь целковых, так и по-

лезай за них в воду. Вот Окиня подаст по стаканчику, так под барку залезешь.

Скоро из балагана показался Прошка. По его хитрой роже было видно, что он явился для переговоров, хотя и признавал всю трудность возложенной на него Окиней дипломатической миссии. Бурлаки загудели, как рой пчел, при его появлении.

– И не говори, Прошка... Лучше и не говори! – орали голоса.

– Да я... ах, господи милостивый?! Да я, што ли, ворог вам? Да разрази меня на месте... Вот сичас провалиться, с места не сойти!..

– Вре-ошь, Прошка!.. – галдела толпа. – Вишь, ребята, как он буркалами-то ворочает, как осетёр... Проваливай, Прош, в балаган, испей чайку с Окиней – может, вдвоем, как ни на есть, а сымете барку. Чайничков пяток охолостите, так с одного пару пойдет...

– Да я для вас же хлопочу, братцы...

– Ишь, братец какой выискался!. Нет, Прош, не тебе в воду-то лезть, так ты, тово, проваливай в палевом, приходи в голубом!..

– Да ведь вам же, дуракам, хуже, если будем сидеть на ташу. Ну, чего вы горло понапрасну дерете: не впервой! – Обсохнет барка на ташу – и ступайте домой без расчета...

– Так и пошли!.. Подставляй карман шире...

– Дело прямое, что без расчета уйдете... Мне ведь што,

мне все равно, об вас говорю.

Эти переговоры не привели ни к чему, и Прошка удалился в балаган ни с чем; но его резоны произвели известное впечатление, главным образом, конечно, на благоразумный, рассудительный элемент. Первым отозвался старик с передней палубы, а за ним Гаврилыч и Мамко; бабы им вторили. Мало-помалу голос благоразумия начал брать перевес, особенно когда бурлаки отдохнули и наелись. Васька завернулся в мокрую рогожку и спал мертвым сном тут же на медных штыках, – только пар валят. Можно было подивиться этому железному здоровью.

– Первое дело, не надо, как вылезешь из воды, соваться к огню, – говорил Минеич, попыхивая крошечной сигаркой.

– Отчего же нельзя? – любопытно спросил я.

– А это уж известно каждому бурлаку... Да. Примеры бывали. Кто таким манером продрогнет в воде да к огню сунется, сейчас ноги как деревянные и сделаются. Так совсем и отнимутся: пропал человек. Надо исподволь... Обтерпишься где-нибудь под палубой, потом можно и у огонька погреться. Хорошо, если у кого переменка есть в запасе: рубашка, штаны... Чтобы, значит, сейчас в сухое переменить-ся.

– А у вас разве нет с собой другой рубашки?

– Другой-то нет...

– Тогда без рубашки лезть в воду?

– Оно, пожалуй, и так, да как-то не принято... Совестно



одному-то голому быть, притом на барке вот женщины тоже. Нет, уж так, как господь пошлет: обсохнет понемногу на живом человеке.

Как могла обсохнуть мокрая рубашка на костях Минеича, для меня было такой же загадкой, как богатырский сон Васьки, который теперь был обсыпан поверх своей рогожки целым слоем мокрого снега. А дорогое время летело. Короткий осенний день был в середине. Еще несколько часов, и барке грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на ташу. Снег продолжал валить мокрыми хлопьями. В воздухе стояла мертвая тишина, нарушаемая только всплесками и шумом бурлившего около нас перебора. Прошка раскупорил заветную посудину и вынес бочонок на палубу.

– Ну, братцы, подходи, – кричал водолив, наливая первый стакан. – Кому первому? Эх, хороша водка!.. Сам бы пил, да деньги надо...

– Ты уж в Перме отведаешь душу, Прош, – дружелюбно говорили бурлаки, гуськом подходя к бочонку.

Первым подошел Минеич. Дрожащей рукой взял он стакан из могучей лапы Прошки, перекрестился, разгладил рыжие усы и жадно прильнул синими губами к стакану, пока в нем не осталось ни капли.

– Ты уж, Минеич, тово, пожалуйста, постарайся, – шутил Прошка: – на тебя вся надежда!.. Прикладывайтесь, ребята.

В этой обстановке, при работе в холодной воде, водка являлась, кажется, единственным спасительным средством, и,

право, едва ли можно обвинять бурлаков в такой пристрастии к ней. Пили все с одинаковым удовольствием, и все одинаково кричали и пожимались от разлившейся благодетельной теплоты по измерзшему бурлацкому телу. Окиня тем временем хлопотал на корме, где разматывали снасть и готовили «неволю». Неволей, на образном бурлацком жаргоне, называется широкое, стесанное с двух сторон бревно; оно походит на обыкновенную доску, только чрезвычайно толстую.

– Сперва попробуем неволей, – кричал Окиня: – может, и сдернет с таша...

Неволю прикрепили комлем к носу, а другой конец свободно опустили на толстом канате.

– Кто из охотничков на неволю? – кричал Окиня.

Мамко и Васька молча выделились из толпы. Через минуту они были в одних рубашках.

– Мотрай, чтобы струей не сбило, Вась...

– Не собьет, – отозвался Васька уже из воды, которая ему доходила по грудь. – Ух, студяно!..

Мамко последовал его примеру, и с «чегенем», то есть длинным колом в руках, стал под плечом барки; Васька, цепляясь за неволю, перебрался до ее дальнего конца и обседлал ее.

– Прош, чегени! – кричал Окиня, бегая по корме. – Федя, ищо потуже...

Прошка и Рыбаков плотно подперли корму барки толсты-

ми кольями с противоположной неволе стороны; но место было глубокое, колья трудно было установить правильно, и Рыбаков спустился в воду.

– Мамко, подчегенивай! – крикнул Окиня, держа в руках закрепленную на огниве снасть.

Мамко продернул свой кол в отверстие, сделанное на конце неволи, и как-то особенно ловко повернул бревно ребром, так что вода сразу образовала запруду и сильно наперла на неволю. Васька старался вдавить прыгавший конец неволи глубже в воду. Канат натянулся. Барка задрожала. Бурлаки с шестами стояли на корме и не давали ей повертываться назад. Был один момент, когда барка, кажется, была готова сняться с таща, но одной неволи было мало, а другой не было в запасе.

– Видно, нечего делать, братцы... – уныло проговорил Окиня, почесывая затылок. – Берите чегени да в воду.

Минеич, солдат, Гаврилыч, Афонька, Прошка и старик с носовой палубы, ожигаясь, спустились по другую сторону от неволи и выровнялись с чегенями под левым плечом барки. Бабы стояли у носового поносного. Нужно было спустить неволю, а потом вдруг повернуть ее, и в то же время бурлаки должны были сдвигать барку чегенями. Васька затянул «Дубинушку». Когда дошло до «подернем», неволя зашумела, бабы ударили нос, направо, бурлаки приподняли левое плечо чегенями – барка немного подвинулась, но потом опять стала.

– Эх, ешь-те мухи с комарами! – ругался Прошка, бросая свой шест. – Точно руками кто ее держит.

– Маленичко подалась, братцы, – одобрял Окиня, и сам затыкнул «Дубинушку».

Что-то такое необыкновенное было во всей этой картине. Эти люди, стоявшие чуть не по горло в воде, шум бурлившей воды, эта дружная песня, гулким эхом катившаяся вниз по реке... А снег продолжал все идти, точно белым саваном, покрывая все кругом. Несколько раз уж пропели «Дубинушку», у бурлаков давно стучали зубы. Прошка в эту критическую минуту опять появился с магическим стаканчиком и бочонком.

– По два стакана на брата, – распорядился Окиня.

Бурлаки, не вылезая из воды, выпили свою порцию. Грянула опять «Дубинушка», и на этот раз барка начала медленно сползать с камня, на котором видела.

– Сильно-гораздо, молодцы! Сильно, молодцы!.. – неистово орал Окиня, бегая по палубе как сумасшедший.

Бурлаки с дружным криком подхватили барку чегенями, и она, наконец, сползла с таша. Все бросились из воды и карабкались по бортам. Минеича при этом чуть не утянуло под барку, но Прошка вовремя ухватил его и, как мокрого котенка, выдернул из воды.

– Поживи еще, Минеич, – шутил Прошка, опуская свою добычу: – рано собрался ершей-то ловить.

– Чуть было не засосало... – шептал Минеич посиневши-

ми губами; он теперь был рядом с другими бурлаками неизмеримо жалок и едва попал ногами в свои ветхие порты.

Барка точно обрадовалась своему освобождению и, казалось, плыла как-то необыкновенно легко и ходко. Бабы равнодушно смотрели на бурлаков, как они одевались в свои лохмотья, и ни на одном лице не промелькнуло ни улыбки, ни тени стыдливости. Да и чего было стыдиться, когда продрогшие, окоченевшие люди спасали себя от холода.

– Ну-тко, погрейся, братцы! – командовал Окиня, затягивая свое бесконечное «нос направо», «поддержи корму», «наконь корму», «корму на порубень» и т. д.

Бурлаки с особенным усердием налегли на поносные и выбивались из последних сил, чтобы согреться. Этот маневр все-таки был лучше, чем дрогнуть где-нибудь под палубой. К огню никто не подошел, кроме солдата, который не знал приемов бурлацкой гигиены.

– Ступай ты к поносному, – говорил Прошка несчастному воину. – Охота человеку задарма пропасть... Вот согреешься, тогда и к огню.

Хорошо это было советовать, но каково терпеть!

– Шабаш! – скомандовал, наконец, Окиня и, сняв шапку, проговорил: – Спасибо, други сердечные... Вызволили!.. Прощ, закатай им ишо плепорцию!

Бурлаки выпили свою «плепорцию» и только теперь собрались вокруг огня, подставляя промокшие спины и бока под самое пламя. Водка на них не производила никако-

го опьянения, хотя на каждого выпало чуть не по полуштофу. В котелках варево было уже готово, и все принялись за него с особенным ожесточением. Бабы суетились и помогали. Теперь барка походила на большую семью. Моралист мог еще раз убедиться в очевидности той истины, как страдания сближают людей.

– Ох, уж эти мне камешки! – говорил Окиня, когда мы пили чай в балагане. – Нет того хуже, как плавать по межени: в камнях таши, а выбежишь из камней, пойдут огрудки.

Вечером барка схватилась немного повыше Кыновского завода, потому что плыть в темноте дальше было опасно. Мне больше нечего было делать на барке: из Кына приходилось ехать в Пермь по гороблагодатскому тракту. Я распрощался с бурлаками, с Окиней и с Прошкой. Мой чемодан лежал уже в лодке, где ждали Васька, Афонька и Мамко, которые вызвались отвезти меня в Кын.

– Ты, барин, весной к нам приезжай, на Чусовую-то, – говорил мне на прощанье Окиня: – изуважим... Долго будешь помнить!

– И теперь не забуду.

– Теперь чего: раков давим.